

СЮЖЕТ ИСПЫТАНИЯ В «ПЕТЕРБУРГСКИХ ПОВЕСТЯХ» ГОГОЛЯ

В повестях «петербургского» цикла изображаются различные сюжетные метаморфозы, в которых «по соображении всего» может быть увидено «много неправдоподобного»¹. Логика подобных метаморфоз, влияющих на событийную динамику или даже направляющих развитие событий, диктуется в том числе и логикой инициации. Речь идет не просто о структурном сходстве (более или менее случайном совпадении) ритуальной схемы инициации и сюжетных элементов «петербургских» повестей, но об ориентации Гоголя на инициацию как универсальную нарративную парадигму², об использовании ее кодирующего механизма³.

Схема инициации трансформируется в «Петербургских повестях» в сюжет испытания; определенным сюжетным ситуациям приписываются функции «обрядов», призванных оформить значимый переход героя из одного статуса в другой. Изображаемые события наделяются важными «посвятительными» значениями, демонстрируя способность или же неспособность героя противостоять посылаемым ему искушениям и соблазнам, справиться с различными наваждениями и миражами и доказать тем самым свою зрелость.

Испытание включает в себя, как и в переходном обряде, ряд соответствующих стадий. Герой, будучи частью определенной группы персонажей (например, петербургским чиновником или петербургским художником), выделяется из нее (оказывается за ее пределами), проходит посвящение в новый статус в течение какого-то пограничного периода и затем, в новом уже статусе, возвращается в прежнюю группу или занимает место в новой группе.

Сближение гоголевского Петербурга посредством соответствующих ассоциаций «с мифическим царством мертвых»⁴ также актуализирует схему инициации, включающую в себя испытание в «том» мире и последующее возвращение в «этот» мир. Мифологическая интерпретация петербургского пространства резко выделяет такие ключевые для испытания моменты, как смерть и новое рождение, которое может быть уподоблено возвращению с «того» света⁵. Отсюда роль символизма смерти и нового рождения⁶ в сюжетной истории персонажей, который придает символический смысл событиям, развертывающимся в той или иной «петербургской» повести.

Остановимся подробнее на испытании героя-чиновника как наиболее репрезентативного типа и для исторического «петербургского времени»⁷ (об этом особом времени Достоевский размышлял, вспомнив о гоголевском Поприщине, у которого не было иной возможности изменить свой статус, как «...броситься в самое отчаянное мечтание и поверить ему»⁸), и для гоголевского «петербургского» цикла, где *странное* поведение носителя чина подчеркивает его идентичность столь же *странному* петербургскому пространству.

Но прежде уточним пониманием Гоголем самой «чиновничьей» проблематики, имея в виду не позднюю риторику писателя о значении «должности» и «места», а особенности его художественного видения.

М.М. Бахтин, сравнивая методы Достоевского и Гоголя, отмечал: «Самосознание можно сделать доминантой в изображении всякого человека. Но не всякий человек является одинаково благоприятным материалом такого изображения. Гоголевский чиновник в этом отношении представлял слишком узкие возможности»⁹. Но зато этот чиновник явился благоприятным материалом изображения редуцированного человека (человека с деформированным самосознанием или вообще лишенного самосознания).

Вот как путаются в сознании героя «Носа» понятия о его «я» и чине: «Конечно я... впрочем, я майор. Мне ходить без носа, согласитесь, это неприлично» (III, 56). Это знаменательное «впрочем» служит логичным для героя переходом от «я» к майорскому чину, с которым он себя отождествляет. Ср. комментарий повествователя: «Он мог простить все, что ни говорили о нем самом, но никак не извинял, если это относилось к чину или званию» (III, 64). Потому и «мог простить» любые суждения «о нем самом», что чин замещает *его самого*.

Ср. недоумение Пирогова, вызванное предложением Шиллера пойти «вон»: «Мне странно, милостивый государь... вы верно не заметили... я офицер...» (III, 38). И его же реакцию на экзекуцию: «Сибирь и плети он почитал самым малым наказанием для Шиллера» (III, 44). Важно, однако, что к жене Шиллера «...он прибыл совершенно как частный приватный человек в сюртучке и без эполетов» (III, 44). Не потому ли гнев его «как-то странно» стихает, что оскорбление нанесено *ему самому*, но не его «званию и чину»: «съел два слоеных пирожка», прошелся по Невскому проспекту, а затем «с удовольствием провел вечер», где «отличился в мазурке» (III, 45).

Неопределенность *человеческого* статуса героя-чиновника оборачивается трансформациями его знакового облика, превращая испытание в фикцию, а самого героя – в антропологический казус. Заново родившись в виде «майора», «испанского короля» или «значительного лица», герой всего лишь присваивает себе атрибуты и признаки петербургской реальности. Метаморфозы персонажей, являющихся функцией петербургского пространства, где актуализируется не только идея исчезновения, но и идея спасения¹⁰, связаны со спасением их знакового облика.

В «Петербургских повестях» герой-чиновник предстает не только как антропологический казус, но и как антропологическая загадка, имеющая прямое отношение к типу человека, сформированному петербургским

периодом русской истории. Реакцией на эту загадку становится риторика повествователя в «Невском проспекте»: «Боже, какие есть прекрасные должности и службы! как они возвышают и услаждают душу! Но, увы! я не служу и лишен удовольствия видеть тонкое обращение с собою начальников» (III, 12).

Душа, ключевая для гоголевской антропологии категория, сопрягается в этом ироническом высказывании с бюрократическими реалиями и продвигается в совсем иную иерархическую структуру. Чин, поставленный в иерархическое подчинение *душе* как мистической реальности, приобретает мистическое значение¹¹, а вместе с ним и загадочный смысл. Ведь в гоголевском Петербурге странные и неожиданные превращения персонажей связаны именно с «должностями» и «службами»: «Как же можно, в самом деле, чтобы нос, который еще вчера был у него на лице, не мог ездить и ходить, – был в мундире!» (III, 55).

Слово «душа» оказывается лексическим оборотом и так же, как и «все» в петербургской реальности, «не то, чем кажется» (III, 45). Подхватывая это гоголевское «все» при характеристике «миражной жизни», породившей в лице поручика Пирогова «последние, крайние грани пошлости», то есть «пошлости, которая сама собою любит себя», Ап. Григорьев пронизательно заметил: «Нельзя поручику Пирогову и не любоваться-то собою. Все, что окружает его, – не выше его уровня. Все как он же смотрит на жизнь...»¹². Гоголевский поручик служит воплощением *уровня* редуцированности человека в пространстве, где человеческие качества и свойства имитируются и дискредитируются.

Превращение героя в функцию петербургского пространства изменяет характер испытания. Офицеры, к кругу которых принадлежит Пирогов, «...считаются учеными и воспитанными людьми» (III, 35). Способ именования вещей и явлений (таких, например, как *ученость* и *воспитанность*) оборачивается переименованием (*считаются*, следовательно, не являются

такowymi на самом деле), то есть мифологической операцией уничтожения и нового рождения¹³. Подобное переименование сродни испытанию, суть которого заключается не в действительной перемене статуса, а в смене знаковых масок.

Гоголевский герой-чиновник не обладает, как выясняется, не только личностной, но и знаковой определенностью. Потому он и стремится, подобно поручику Пирогову, «принять совсем другое лицо», что в *обманном* пространстве Петербурга олицетворяет собою связанный с феноменом «всеобщего русского лганья»¹⁴ тип петербургского человека¹⁵. Понятно, почему испытание ускользающего от какой-либо определенности героя выглядит скорее не испытанием, а его пародийной имитацией, герой же оказывается пародией на *самого себя*.

Как эротизм Пирогова, подчеркнутый преследованием блондинки, отнюдь не свидетельствует о его наступившей зрелости, так и поведение поручика после экзекуции обнаруживает признаки трагикомической *детскости*, но одновременно и старческой дряхлости (провалы памяти), что делает неопределенным и символический возраст героя, начисто позабывшего о нанесенном ему оскорблении.

Поведение забывчивого Пирогова дало повод Достоевскому сделать вывод о странной *широте* «нашей русской природы», преобразованной петербургским периодом русской истории, в ретроспективе которой гоголевский герой видится «страшным пророчеством гения, так ужасно угадавшего будущее, ибо Пироговых оказалось безмерно много, так много, что и не перечеть»¹⁶. А современный исследователь «петербургских» повестей, напомнив о пушкинском «Медном всаднике», заключает, что Гоголь «пошел дальше по пути выяснения человеческих последствий государственной, петербургской российской истории...»¹⁷. И вслед за этим высказывает соображение более общего характера: «Петербургский чиновник никола-

евской эпохи явился исторической формой критического испытания человеческой природы, как таковой»¹⁸.

Принципиальная *бескачественность* Пирогова действительно свидетельствует не только о петербургской природе героя, но и о *человеческой природе, как таковой*, испытание которой поставлено в прямую зависимость от испытания природы петербургской. Ср.: «Он был очень доволен своим чином, в который был произведен недавно, и хотя иногда, ложась на диван, он говорил: “Ох, ох! Суета, все суета! Что из того, что я поручик?” Но втайне его очень льстило это новое достоинство; он в разговоре часто старался намекнуть о нем особняком, и один раз, когда попался ему на улице какой-то писарь, показавшийся ему невежливым, он немедленно остановил его, и в немногих, но резких словах дал заметить ему, что перед ним стоял поручик, а не другой какой-то офицер» (III, 36).

Новый чин равнозначен новой знаковой маске, скрывающей не какое-то *другое лицо*, но отсутствие лица. С.Г. Бочаров, обозначив «лицо как реальный предмет и реальнейшую тему творчества Гоголя»¹⁹, говорит в этой связи о том значении, которое имела для русской литературы «гоголевская картина человека»²⁰. Эту *картину*, рассмотренную в определенном ракурсе, выразительно характеризует внушение, сделанное писарю поручиком; подобное внушение делает и нос, принявший вид «статского советника», коллежскому асессору Ковалеву: «Судя по пуговицам вашего вицмундира, вы должны служить в сенате или, по крайней мере, по юстиции. Я же по ученой части» (III, 56). В обоих этих случаях подчеркивается *обезличенность* персонажей, фиксирующих внимание на своей знаковой маске, с которой они себя идентифицируют.

В отличие от библейского мудреца из «Книги Екклесиаста», скепсис которого («суета сует и все – суета») направлен против самодовольной и не сомневающейся в себе ортодоксии²¹, Пирогов, притворно порицая «суету» с чином, именно ею и поглощен; он не только профанирует слова Про-

поведника, но своими поступками словно стремится опровергнуть его скептический взгляд на идею «вечного возвращения», не приносящую библейскому мудрецу философского утешения²². И идея эта также профанируется в сюжете испытания Пирогова.

Будучи сначала озадачен обхождением Шиллера, а затем и «очень больно высечен» (III, 44), поскольку «не тот Шиллер» (III, 37) адекватно оценивает квазиромантический порыв поручика, герой возвращается на круги своя. Пережитая им в форме экзекуции метафорическая смерть не препятствует его столь же метафорическому воскрешению, ознаменованному успехами в мазурке.

Таков же (в смысле возвращения на круги своя) и сюжетный итог истории, приключившейся с коллежским асессором Ковалевым. Бегство носа служит причиной метафорической смерти героя, который «никогда не называл себя коллежским асессором, но всегда майором» (III 53), но теперь превращается в «чорт знает что» (III, 64); возвращение носа на свое место приводит к метафорическому воскрешению мнимого майора: в результате испытания он становится обладателем не только своего собственного носа, но и не принадлежащего ему майорского чина.

Феномен самозванства, связанный с представлениями об антиповедении и подмене, преобразуется у Гоголя в интригу «переименования», развивающуюся в пространстве, заполненном условными «именами» должностей, чинов и званий; смена «имен» (например, коллежского асессора на майора) означает в этом пространстве новое рождение героя, наделившего себя новым «именем»²³. Вернув себе «имя» майора, Ковалев пребывает «вечно в хорошем юморе» (III, 74), не подозревая, однако, о *юморе творения*²⁴, дающем почувствовать «всю невозможность, всю абсурдность существа, которое соединило в себе нос и глаза, тело и душу...»²⁵.

Показательно, что в «Носе» роль самозванца выполняют как Ковалев, так и его нос, оказавшийся видимостью человека и функцией чина.

Мнимое «имя» в пространстве, где принято «считаться» и «казаться», рождает фикции и фантомы, так что переименование (коллежского асессора в майора или носа в статского советника) только расширяет сферу прозрачности: фиктивным становится как переход из одного статуса в другой, так и статус, как таковой.

Интрига «переименования» реализуется в «Носе» как смена знаковой сущности, а не одного лишь знакового облика. Герой, подобно самозванцу в волшебной сказке, проходит испытание на идентификацию, призванную установить, является ли он *ложным* героем или *истинным*²⁶.

Ковалев не просто наделяет себя офицерским чином, но и демонстрирует перед *всеми* свое посвящение в майоры: «...спроси только: здесь ли живет майор Ковалев – тебе всякой покажет» (III, 53). В петербургском пространстве чин отождествляется со знаковым «именем»; как нос, назвав себя статским советником, становится им, так и Ковалев, назвав себя майором, приобретает майорскую сущность. В качестве майора его должны воспринимать не только другие персонажи, но и повествователь, решивший «...вперед этого коллежского асессора называть майором» (III, 53).

Ирония ситуации состоит в том, что герой, переместившись из гражданской табели о рангах в военную, утрачивает нос в мирное время: «И пусть бы уже на войне отрубили...» (III, 64). Офицерский чин словно спровоцировал *гибель* носа, метаморфозы которого изофункциональны смене «имен» и образуют параллельную интриге «переименования» интригу «перевоплощения». Присвоив себе чужое «имя», Ковалев неожиданно включается в связанный с этим «именем» событийный ряд («майор – война») и подвергается испытанию (нос «отрубили»), предусмотренному этим рядом.

Поведение персонажей-самозванцев указывает на то особое значение, какое придается в петербургской реальности чину и природе чина, которая проходит здесь испытание (подобно *человеческой природе*, как та-

ковой), как таковая. Результатом испытания служит представление о сверхъестественном происхождении чина и о его независимости от человека. Как исторические самозванцы «...могли быть убеждены в том, что наличие тех или иных знаков на их теле определенным образом свидетельствует об их отмеченности»²⁷, так и нос-самозванец, прикинувшийся статским советником, уверен, что особые пуговицы на мундире указывает на его автономность: «Я сам по себе» (III, 56).

Ковалев заключает из «собственных ответов носа», ставшего чиновником более высокого, чем он, ранга, «что для этого человека ничего не было священного...» (III, 56). Кощунственно имитируя поведение статского советника и обрядившись без законных на то оснований в чужой мундир (став *ряженым*, то есть придав своим действиям «черный» смысл²⁸), нос посягает тем самым на *святость* чина²⁹.

Покушение на *священное* вообще характерно для носа-самозванца, отличающегося, например, мнимой набожностью: «Нос спрятал совершенно лицо свое в большой стоячий воротник и с выражением величайшей набожности молился» (III, 55). Ср.: «Чудовище явно пародирует молитву и молящихся. Это едкая насмешка над христианским благочестием»³⁰. Нос, будучи видимостью, и демонстрирует видимость христианского благочестия, имитируя благочестивое поведение, однако насмешки в его действиях нет; он *сам по себе*.

В эпилоге «Носа» повествователь замечает, что «точно странно сверхъестественное отделение носа и появление его в разных местах в виде статского советника...» (III, 74). Но эта *странность* как раз и обусловлена *сверхъестественной* природой чина, способного вести независимое от человека существование. Отсюда стремление носа закрепить свою автономность (*сам по себе*), появившись в сакральном месте (в Казанском соборе³¹) и объявившись в сакральное время (Благовещение³²). Чин пытается не просто заместить человека, но присвоить себе человеческий *образ*.

Ковалев, отчаявшись объяснить в «газетной экспедиции», какого рода происшествие с ним произошло, недаром вспоминает о проделках нечистой силы: «Нос, то есть... вы не то думаете! Нос, мой собственный нос пропал неизвестно куда. Чорт хотел подшутить надо мною!» (III, 60). По мнению Ю.В. Манна, «...это сказано так, мимоходом»³³. Сдается, однако, что герой все же не случайно поминает черта; ведь самозванство носа, как и всякое самозванство, приобретает, несомненно, значение «обратного действия»: «Называясь чужим именем, человек совершает акт, подобный продаже души сатане»³⁴. Действия носа, назвавшегося «именем» статского советника и имитирующего *образ* человека, обнаруживают явно *шутовской* характер.

Пародийный мотив продажи нечистой силе вместо души носа, связанный с интригой «переименования» (Ковалев, присвоив себе майорский чин, становится, подобно носу-самозванцу, ряженым), трансформирует испытание в *шутку*, то есть в проделку черта; в этом смысле чертыханье Ковалева означает призывание им нечистой силы с целью прекратить *шутовское* испытание. Между тем узурпация носом чужого чина обнаруживает вероятную связь самозванца с потусторонним миром, обнажая вместе с тем и потустороннюю природу самого чина.

Прекращение испытания-«шутки» и возвращение Ковалеву вместе с носом его майорской сущности оборачивается в *перевернутом* мире Петербурга («все происходит наоборот» – III, 45) мнимым воскрешением героя-чиновника, не имеющего никакой сущности вообще. Если нос не показывает «даже вида, чтобы отлучался по сторонам», то Ковалев покупает «какую-то орденскую ленточку, неизвестно для каких причин, потому что он сам не был кавалером никакого ордена» (III, 75).

Орденская ленточка призвана удостоверить существование героя, лишённого человеческой сущности. Наглядно демонстрируя *нулевой* результат испытания, поступок героя завершает сюжет испытания, вызывая

ироническое недоумение повествователя, «как авторы могут брать подобные сюжеты»; однако предположение, что «во всем этом, право, есть что-то» (III, 75), *необыкновенно-странным* образом возвращает повествование «к тайнам гоголевской антропологии»³⁵.

Вопрос о человеке (образе и природе человека) поставлен как задача сюжета испытания во второй части «Портрета»; здесь выясняется, возможно ли новое рождение (= воскрешение) в мире, где от влияния демонических сил и от опасности грехопадения человека могут защитить и спасти только его собственные духовные усилия. Цель ухода религиозного живописца в монастырь (включения в круг лиц, отмеченных особой близостью к сакральному) заключается не в простой смене статуса, но в испытании своей человеческой природы и обретении подлинной духовной зрелости. В аспекте испытания уход героя, равно как и его смерть (= смерть для мира), является важнейшим актом его биографической истории. Ср. с *историей героя* как мифологическим сюжетом: «Последним актом в биографии героя является его смерть или уход. Здесь резюмируется весь смысл жизни»³⁶.

Характер и исход испытания религиозного живописца («суровой святости его жизни» – той жизни, которую он ведет в качестве монаха-отшельника), представшего перед навестившим его сыном как «прекрасный, почти божественный старец», лицо которого «сияло светлостью небесного веселия» (III, 134), подчеркивает ориентацию повествования не только на мифологическую модель, но прежде всего на модель житийного жанра. Определяющее судьбу героя сюжетное решение связано с его прежним статусом религиозного живописца; в результате испытания он становится святым подвижником.

Между тем Гоголь не отказывает и герою-чиновнику в возможности столь же радикального изменения если не статуса (герой этого типа не мо-

жет превратиться в носителя святости), то видения мира, обретения им духовного зрения.

В «Шинели» «один молодой чиновник, недавно определившийся, который, по примеру других, позволил было себе посмеяться» над Акакием Акакиевичем, ««вдруг остановился как будто пронзенный», услышав в его голосе «что-то такое преклоняющее на жалость», так что «с тех пор как будто все переменялось перед ним и показалось в другом виде. Какая-то неестественная сила оттолкнула его от товарищей, с которыми он познакомился, приняв их за приличных, светских людей» (III, 143–144).

Сюжет испытания сжат здесь до предела, но схема сюжета сохранена: «молодой чиновник» (возраст характеризует «переходное» состояние, предшествующее посвящению) в результате совершившейся *перемены* (открывшаяся ему истина функционально тождественна мифам, предназначенным для «взрослых» и сообщаемым во время инициации неофитам³⁷; такого рода неофитом предстает и гоголевский персонаж, обнаруживший «вдруг» в обижаемом всеми титулярном советнике «брата») выходит за пределы прежнего круга (круга бездушных чиновников), чтобы заново родиться в качестве человека с *душой*.

Е.А. Смирнова верно указала на «трансцендентный характер эпизода» с гоголевским персонажем, которому истина «явилась как откровение»³⁸. Явленная «молодым чиновником» способность к мгновенному преображению, мистическому в своей внезапности и логической немотивированности, свидетельствует о реальности чуда воскрешения в петербургском *царстве мертвых*. Поздний Гоголь будет приписывать такую способность «истинно русской душе», способной внезапно пробудиться «от позорного сна» и стать «вдруг другим» (VIII, 280-281). В случае же «молодого чиновника» речь идет не об этнических, но об антропологических свойствах героя, выдержавшего испытание на человечность.

В «Шинели», где описано это знаменательное событие, как и в других повестях «петербургского» цикла, где также решается проблема антропологического статуса гоголевских персонажей, за видимым миром мнимостей и фикций зримо просвечивает мир невидимый, сакральный, соприкосновение с которым оказывается главным моментом сюжета испытания.

¹ Гоголь Н.В. Полн. собр. соч.: В 14 т. Т. III. [М.; Л.], 1938. С. 75. Далее ссылки приводятся в тексте с указанием тома римскими и страниц арабскими цифрами. В предлагаемой работе развиваются, уточняются и пересматриваются положения нашей статьи «Мотив испытания» в «Петербургских повестях» Гоголя» (Гоголевский сборник. СПб., 1994. С. 97–108).

² Об инициации и о роли испытания в «переходных» обрядах см.: Мелетинский Е.М. Поэтика мифа. М., 1976. С. 226–229; Левинтон Г.А. Инициация и мифы // Мифы народов мира. Энциклопедия: В 2 т. 2-е изд. Т. I. М., 1987. С. 543–544.

³ Ср.: Мелетинский Е.М. О литературных архетипах. М., 1994. С. 21; Элиаде М. Священное и мирское / Пер. с фр. М., 1994. С. 129.

⁴ Маркович В.М. Петербургские повести Н.В. Гоголя. Л., 1989. С. 61.

⁵ Связь в сценариях инициации символизма рождения и символизма смерти специально отмечена в кн.: Элиаде М. Указ. соч. С. 119.

⁶ Ср.: Мелетинский Е.М. Поэтика мифа. С. 226.

⁷ Достоевский Ф.М. Дневник писателя за 1877 год // Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Т. XXV. Л., 1983. С. 133.

⁸ Там же.

⁹ Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. 4-е изд. М., 1979. С. 58.

¹⁰ См.: Топоров В.Н. Петербург и «Петербургский текст русской литературы» (Введение в тему) // Топоров В.Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ: Исследования в области мифопоэтического. М., 1995. С. 279, 295.

¹¹ Ср.: Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре: Быт и традиции русского дворянства (XVIII – начало XIX века). СПб., 1994. С. 33–34.

¹² Григорьев А.Ф. Достоевский и школа сентиментального натурализма // Н.В. Гоголь: Материалы и исследования: В 2 т. Т. I. М.; Л., 1936. С. 253.

¹³ См.: Лотман Ю.М., Успенский Б.А. Миф – имя – культура // Труды по знаковым системам. Т. VI. Тарту, 1973. С. 298.

¹⁴ Достоевский Ф.М. Дневник писателя. 1873 // Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Т. XXI. Л., 1980. С. 119.

¹⁵ Ср.: «Двести лет выработывался этот главный тип нашего общества под непрерывным, еще двести лет тому назад указанным принципом: ни за что и никогда не быть самим собою...» (Там же. С. 120).

¹⁶ Там же. С. 124.

¹⁷ Бочаров С.Г. Загадка «Носа» и тайна лица // Бочаров С.Г. О художественных мирах. М., 1985. С. 138.

¹⁸ Там же. С. 140.

¹⁹ Бочаров С.Г. Вокруг «Носа» // Бочаров С.Г. Сюжеты русской литературы. М., 1999. С. 108.

²⁰ Там же. С. 117.

²¹ Аверинцев С.С. Древнееврейская литература // История всемирной литературы: В 9 т. Т. I. М., 1983. С. 296.

²² Там же.

²³ В ритуалах посвящения новые имена, получаемые посвящаемыми, «...становятся их настоящими именами» (*Элиаде М.* Указ. соч. С. 119).

²⁴ Сопоставив «Портрет», посвященный *глазам*, эмблеме *духовности*, и «Нос», посвященный *носу*, эмблеме *телесности*, а также образы Чарткова и Ковалева, И. Анненский заключает: «А ведь может быть и то, что здесь проявился высший, но для нас уже не доступный юмор творения, и что мучительная для нас загадка человека как нельзя проще решается в сфере высших категорий бытия» (*Анненский И.* Портрет // *Анненский И.* Книги отражений. М., 1979. С. 20).

²⁵ Там же.

²⁶ См.: *Мелетинский Е.М., Неклюдов С.Ю., Новик Е.С., Сегал Д.С.* Проблемы структурного описания волшебной сказки // Структура волшебной сказки. М., 2001. С. 40. Не только герой сказки, но и литературный герой, например герой греческого романа, проходит испытание «на самоотжественность» (*Бахтин М.М.* Формы времени и хронотопа в романе. Очерки по исторической поэтике // *Бахтин М.М.* Вопросы литературы и эстетики. М., 1975. С. 256).

²⁷ *Успенский Б.А.* Царь и самозванец: самозванчество в России как культурно-исторический феномен // Художественный язык средневековья. М., 1982. С. 206.

²⁸ Там же. С. 213.

²⁹ См. о претензиях исторических самозванцев на обладание сакральными свойствами: Там же. С. 202–203.

³⁰ *Ульянов Н.* Арабеск или Апокалипсис? // *Ульянов Н.* Диптих. Нью-Йорк, 1967. С. 56.

³¹ См.: *Вайскопф М.* Нос в Казанском соборе: о генезисе религиозной темы у Гоголя // *Вайскопф М.* Птица-тройка и колесница души. М., 2003. С. 171.

³² См.: *Гончаров С.А.* Творчество Гоголя в религиозно-мистическом контексте. СПб., 1997. С. 151; *Успенский Б.А.* Время в гоголевском «Носе» («Нос» глазами этнографа) // *Успенский Б.А.* Историко-филологические очерки. М., 2004. С. 50–53.

³³ *Манн Ю.В.* Поэтика Гоголя // *Манн Ю.В.* Поэтика Гоголя. Вариации к теме. М., 1996. С. 77.

³⁴ *Панченко А.М.* «Народная модель» истории в набросках Толстого о Петровской эпохе // Л.Н. Толстой и русская литературно-общественная мысль. Л., 1979. С. 81.

³⁵ Бочаров С.Г. Вокруг «Носа». С. 99.

³⁶ Ср.: *Кэмпбелл Д.* Тысячеликий герой / Пер. с англ. М.; Киев, 1997. С. 342.

³⁷ См.: *Левинтон Г.А.* Указ. соч. С. 544; *Мелетинский Е.М.* Поэтика мифа. С. 226.

³⁸ *Смирнова Е.А.* Жуковский и Гоголь (К вопросу о творческой преемственности) // Жуковский и русская культура. Л., 1987. С. 264.